



**Максим Горький**

## **КНИГА**

*Рассказ*

---

### **ГОРЬКИЙ — ЭТО КАК СССР, ТОЛЬКО В ЛИТЕРАТУРЕ**

*В Борисоглебске чтут память о пролетарском писателе Алексее Максимовиче Горьком.*

В литературной летописи есть страница, которая в последние годы постепенно предается полузабвению, как и само творчество этого великого писателя, со дня рождения которого недавно минуло 155 лет. Касается это Максима Горького и связано с чисто идеологическим взглядом на его творчество. В советское время как основатель соцреализма он был самым издаваемым писателем в стране, а его творческий метод кропотливо изучали и осваивали литераторы, по меньшей мере, половины земного шара. А кто из старшего поколения не писал в свое время сочинений по его роману «Мать» или ранним романтическим рассказам о «Соколах», «Буревестниках» и смелом Данко?.. Нынче эти произведения в школьной программе по литературе на втором плане — и, само собой, современная молодежь почти не имеет представления о писателе, который на весь мир произнес слова, которые и сегодня нередко цитируются: «Человек — это звучит гордо!» Да и само писательское имя было быстро стерто в 90-х годах прошлого века в уго-

ду новым идеологическим штандартам: улица Горького в Москве стала Тверской, город Горький вновь преобразовался в Нижний Новгород...

И все же его писательская судьба представляется мне похожей на судьбу великого СССР, о котором ностальгирует население почти всех советских республик, очутившихся не совсем по своей воле независимыми государствами. Ведь все тогда голосовали за сохранение единой могучей державы. Так и Максим Горький — это как СССР, только в литературе. Кажется мне, что разумный читатель, наевшись постмодернистской словесной жвачки от нынешних, с позволения сказать, литераторов, снова вернется к настоящей, нравственной литературе, в том числе и к горьковским творениям, гениально отразившим российскую жизнь на сломе XIX–XX веков. Вернется — и увидит там не только «мерзости разлагающегося строя», но и писательскую мечту о «новом человеке» — свободном, умном, волевом и бесстрашном создателе справедливо-го общества. Это проза высочайшего ли-

тературного и интеллектуального качества. Ведь не случайно произведения Максима Горького пять раз (!) номинировались на Нобелевскую премию. Правда, не удостоился Горький этой премии. Опять же, по идеологической причине — писатель талантливый, но революционер-коммунист, безжалостный ниспровергатель старого строя.

Что касается Борисоглебска, то здесь память о Горьком чтут и хранят. Алеша Пешков с 11 лет начал «свои университеты», странствовал по стране и кем только не работал — посыльным в магазине, буфетчиком на пароходе, помощником пекаря и иконописца. После безуспешной попытки стать студентом Казанского университета и ареста из-за связи с марксистским кружком, будущий писатель оказался в провинциальном, мещанском и купеческом городке.

В летописи «Жизнь и творчество А.М. Горького» приводятся даты, подтверждающие пребывание Алексея Пешкова в Борисоглебске: «1888 год. Декабрь — переводится сторожем на товарную станцию Борисоглебск Грязе-Царицынской железной дороги. 1889 год, январь 6 — уезжает со станции Борисоглебск, в связи с переводом на станцию Крутую, ныне Воропаново». В литературных хрониках за 1928 год также приводится письмо М. Горького сталинградским краеведам: «На Крутую я был переведен зимой 89—90 годов со станции Борисоглебск, где заведовал починкой брезентов и мешков, руководил работой веселых казачек, которые работали очень лениво, но ловко воровали мешки для своих хозяйственных нужд и превосходно пели донские песни. Работали в открытом пакугазе на холоде, со степи набегал резкий ветер, царапал бабам лицо, точно рашпилем: мимо пакугаза двигались вагоны с хлебом, жмыхом, с подсолнечным маслом: пыхтели, посвистывали, маневрируя, паровозы, а казачки работали за 3 гривны в день...» А в мае 1929 года Алексей Максимович Горький в речи на Всесоюзном съезде железнодорожников вновь вспо-



Алексей Пешков. 1889 год

минал Борисоглебск, в частности жестокий произвол чинуш в Борисоглебских железнодорожных мастерских: «Я хорошо помню, как в Борисоглебске начальник движения Надеждин пришел в железнодорожные мастерские и, поглядев на человека, которого раздавили чем-то, сказал: “Вот сволочи, сами за собой не умеют смотреть”, повернулся и ушел. Это была надгробная речь человеку, которого я лично знал...»

В период своего пребывания в Борисоглебске Алексей Пешков также принимал деятельное участие в городском марксистском кружке. С целью конспирации кружковцы нередко собирались за пределами города, выезжали на станцию Сребряково. В одном из жандармских донесений того времени также сообщалось, что «неоднократно и весьма часто приезжали в слободу Михайловскую Василий Алабышев и Алексей Пешков из Борисоглебска». В.Я. Алабышев — бывший студент, исключенный из Казанского университета вместе с В.И. Ульяновым, организатор революционного кружка, в который входили служащие и рабочие железной дороги, находившиеся под надзором полиции, бывшие ссыльные. За Пешковым в Борисоглебске тоже был

установлен негласный полицейский надзор. А в свободное от работы время его часто видели в разных местах — в книжных лавках, на базарной площади, в чайной Федорова. В Борисоглебске будущий классик много читал, приобретая книги у местных интеллигентов, у бывших студентов, в книжных магазинах (в 1888–1889 гг. в городе было три писчебумажных магазина с книжными отделами).

Жил Алексей Пешков в доме у купчихи Юмашевой, где снимал маленькую комнату на втором этаже. Современный адрес этого дома — ул. Первомайская, 79. Был он построен во второй половине XIX века. Расположен на Привокзальной площади, обращен к ней главным южным фасадом. Долгое время в этом доме располагалась городская автостанция — до тех пор, пока не построили по соседству новую. Затем в 1990-х здесь открылся магазин. Потом здание было заброшено, пришло в запустение. И хотя на углу мемориальная доска гласила: «*Здесь с конца 1888 — нач. 1889 г. жил А.М. Пешков (Максим Горький) — русский писатель*», казалось, и этот знак памяти вскоре канет в Лету. Однако в 2021 году по настоянию борисоглебских властей и культурного сообщества управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области выдало разрешение на сохранение этого здания как объекта культур-

ного наследия регионального значения. Его отреставрируют.

Здесь же, на Привокзальной площади, 1 мая 1961 года был воздвигнут памятник Алексею Максимовичу Горькому. Какое-то время считалось, что авторство его утрачено. Но поисками краеведов было установлено, что памятник изготовлен по эскизам Г.М. Мордовина в Киевских художественных мастерских.

В честь великого русского писателя в 1928 году названа улица, расположенная между улицами Гоголевской и Кирова в бывшей Рабочей слободке. Горький много писал о рабочем классе, поэтому логично, что именно в Рабочей слободке новая улица получила имя великого пролетарского писателя.

Наиболее полно и детально эту тему раскрывает книга В.С. Потапова «А.М. Горький в Борисоглебске», которая была издана в г. Балашове в 1962 году и с которой нынче можно познакомиться на сайте Борисоглебской централизованной библиотечной системы.

Борисоглебские впечатления, его работа на соседних с городом станциях оставили большой след в жизни и творчестве писателя М. Горького и нашли отражение в рассказах «Сторож», «Скуки ради». А рассказ «Книга» мы сегодня предлагаем вниманию читателей.

*Владимир НОВОСЕЛОВ*

**В** парке, у стены маленькой старой дачи, среди сора, выметенного из комнат, я увидел растрепанную книгу; видимо, она лежала тут давно, под дождями осени, под снегом зимы, прикрытая рыжей хвоей и жухлым прошлогодним листом. Теперь, когда весеннее солнце высушило ее страницы, склеенные грязью, уже нельзя было прочитать, о чем говорят поблекшие линии букв.

Я пошевелил ее носком сапога и пошел дальше, думая о том, что, может быть, это — хорошая, сердечно написанная книга и немало людей, читая ее, волновались, спорили, учились думать; может быть, кого-то она оплодотворила новой мыслью и многих, в холодные часы одиночества, согрела своим теплом.

Мне вспомнилось, каким добрым другом была для меня книга во дни отрочества и юности, и особенно ярко встала в памяти жизнь на маленькой железнодорожной станции между Волгой и Доном.

Станция стояла в степи, скудно покрытой серыми былинками, в пустоте и тишине, нарушаемой зимою унылым пением снежных вьюг. Летом на станции ныли комары, в рыжей степи насмешливо и тихо свистели суслики, в небе, мутном от зноя, молча кружились коршуны и белые луны.

Бывало, смотришь с перрона в степь, над пустою землей, в свинцовой дали струится марево, на бугорках, около своих нор, стоят суслики, приложив к остреньким мордочкам ловкие передние лапки, точно молятся. А больше никого нет, — дышишь пустотою, и сердце жалобно сжимается от скуки.

Лишь изредка мохнатые чабаны, похожие на святых отшельников с картин, проведут с юга на север отару овец и в тишине степной взываются их странные крики:

— Р-ря-о! Р-ря-у...

Подует ветер, осыплет станцию мелким горячим песком, принесет печальное клохтанье дрофы, свист грызунов, — и снова тихо, и жизнь кажется бесконечным сном.

Где-то, в степных балках, прятались казачьи хутора; позади станции, верст за пять, к Волге, прикурнула на неплодной земле деревня — Пески; оттуда к нам зимою приходили бойкие девицы очищать от снега станционные пути, а по ночам на станцию являлись их братья и отцы воровать щиты на топливо и товар из вагонов.

Особенно тяжело жилось в жаркие летние ночи; в тесных комнатах — нечем дышать, духота и комары не позволяют уснуть; все население станции вылезало на перрон и неприкаянно шлялось повсюду, заводя от скуки ссоры, раздражая дежурных воющими зевками, жалобами на бессоницу и нездоровье, нелепыми вопросами. По двору, точно лунатики, ходят женщины в белых одеждах, босые, с растрепанными волосами; курится костер, прикрытый сырым тальником; в безветренные ночи дым костра встает к небу серым столбом, не отгоняя комаров, — они рождаются в мертвых заводах Волги и тучами летят сюда, в сухую степь, на муку людям и на свою гибель.

В глухой тишине, далеко где-то и точно под землею, рождается тяжелый шорох, растет, окутывает станцию железным гулом; поют рельсы, трясутся лампы; кто-нибудь дремотно говорит:

— Тринадцатый идет...

На краю степи в черную кожу тьмы вонзился красный луч, ранил ночь: и по земле растекается влажное пятно света, напоминая кровь. Медленно приближаясь, луч двоится, и вот он стал похож на чьи-то желтые жуткие глаза, они дрожат в гневном возбуждении. — к трем домикам станции ползет из глубины ночи некое злое чудовище, угрожая гибелью. Знаешь, что это — товарный поезд, но хочется представить себе другое, хотя бы страшное, но другое.

Пассажирские поезда, пробегая мимо станции, только усиливают впечатление неподвижности жизни, углубляют сознание отрезанности от нее. Остановится поезд на минуту — из окон вагонов, как портреты из рам, смотрят на тебя какие-то люди; вспыхивают, точно искры в темноте, загадочные глаза женщин, трогая сердце теплыми лучами мимолетных улыбок.

Сердитый свисток — и в облаке пара поезд скользит дальше, лица люден в окнах вагонов странно искажаются, вытягиваясь вбок, все в одну сторону.

К этому мелканию жизни быстро привыкаешь; мимо тебя ежедневно проезжают одни и те же машинисты, кочегары, кондуктора; кажется, что и люди всегда одни и те же, — они стали неразличимы, точно комары.

На станции служило одиннадцать человек, четверо семейных. Все жили точно под стеклянным колпаком, о каждом было известно все, чего не нужно знать о человеке, и каждый знал обо всех остальных все, что хотел и не хотел знать. Все ходили друг перед другом словно голые; человек при первом удобном случае публично выворачивался наизнанку, по-нуждаемый скукой к нечистоплотным откровенностям и покаяниям.

Играли в карты, страшно пили водку, порою, обезумев от пьянства и тоски, поражали друг друга дикими выходками.

Однажды вечером сторож Крамаренко, молодой, красивый мужик, подошел под окно квартиры смазчика Егоршина, лысенького и богомольного старика, женатого на сироте-казачке, женщине большой и молчаливой, — подошел, раздался донага и стал орать в окно:

— Егоршин, выходи, собака! Выходи, раздевайся, пусть жена твоя видит, который лучше!

Казачка, стиравшая белье, выплеснула на грудь ему ковш кипятку; он завыл и убежал в степь, а Егоршин начал бить жену гаечным ключом. Люди отняли женщину, хотели отправить ее в город, в больницу, но казачка отказалась.

— Не надо, сама виновата, зачем ласково смотрела на него, — говорила она, лежа на дворе, обмотанная кровавыми тряпками, широко открыв синие глаза и облизывая губы маленьким языком.

И дважды спросила тихонько.

— Больно я его обварила?

— Ой, бесстыжая, — шептались женщины и девицы. Егоршин заперся в квартире и молился, стоя на коленях в луже мыльной воды. Люди смотрели на него в окно и ругали старика.

Утром на другой день Крамаренко взял расчет и пешком ушел со станции куда-то к Дону; шел он вдоль линии дороги странно прямо, высоко подняв голову, как солдат на параде.

А через несколько дней и Егоршин перевелся на другую станцию.

— Это, брат, не поможет тебе, — сказал ему Колтунов, помощник начальника станции, прощаясь с ним. — Тебе в землю надобно переводиться; от горя никуда, кроме как в землю!..

Это был странный человек — Петр Игнатьевич Колтунов. Всегда полупьяненький, болтливый, он, должно быть, имел какие-то свои догадки о жизни, но выражал их неясно, и даже казалось, что он не хочет быть понятым.

Сухонький, тощий, он постоянно встряхивал вихрастой, рыжей головой и, прикрывая серые глаза золотистыми ресницами, опрашивал нас — меня, весовщика станции, и товарища моего, телеграфиста Юдина, горбатого и злого:

— Какому богу служите, ребята, а? Потеха!

Или вопрошал сам себя:

— Разве я для того родился, чтобы меня комары ели?

Мы, я и телеграфист, часто и горячо говорили о будущем, он смеялся над нами:

— Потеха! Вы спросите меня: что будет через десять лет, в сей день и час? Я вам верно скажу: то же самое! А через двадцать пять? И тогда — то же самое...

Когда я с Юдиным начали читать Спенсера, он, послушав, спросил:

— Англичанин?

— Да.

— Ну, значит, врет! Англичанин правду никогда не скажет.

И не стал слушать Спенсера.

Иногда Колтунова одолевали припадки нелепого упрямства: он крутил пальцами обгрызенные усы и тоненьким, нервным голосом настойчиво старался убедить нас, что «Пан Твардовский» написан лучше «Фауста», а Тургенев — барышничал лошадьми. Или кричал, высоко взмахивая правой рукою:

— Все наши писатели — не русские: Пушкин — сын араба, Жуковский — турчанки, Лермонтов — англичанин! А которые русские, так они все — незаконнорожденные...

Он был сын священника из Тургайской области, учился в Тамбовской семинарии.

— Выучился водку пить, — пошел в университет, в Казань, — рассказывал он, и его серые глаза уныло зеленели. — В нетрезвом состоянии души надел профессору шубу, шапку и пропил сию арматуру. Потеха! Ну, мне предложили освободить университет. Ушел, лет пять присматривался к разным делам и незаметно очутился женат. С того времени — стоп машина!

Жена ушла от него; он жил с дочерью, шестилетней рыженькой девочкой, спокойной и серьезной, как взрослый человек. Ее бледное, неподвижное личико словно пряталось в золоте кудрей, темные глазки смотрели на все сосредоточенно, улыбалась она редко. Все население станции любило ее какою-то особенной любовью, боязливой и осторожной; мужчины при ней тише ругались, женщины ставили ее в пример своим детям.

— Смотри, вон какая Верочка смирененькая да аккуратная...

Отец звал дочь по имени и отчеству — Вера Петровна; он относился к ней непонятно — с любопытством и как будто с боязнью, за которую скрывалась враждебность.

...По тесным путям станции маневрирует локомотив, входит поезд с Дона или Волги, а Вера Петровна, в белом платочке на золотых кудрях, не спеша идет через рельсы; между локомотивами мелькают ее тонкие ножки в красных нитяных чулках. Она идет в скупую степь собирать бедные цветы, бегать за сусликами с таловым прутом в руке.

Отец следит за нею из окна станции или с перрона и кусает усы, прикрыв золотыми ресницами воспаленные глаза.

— Запретить бы ей ходить по путям, — говорят ему.

Но он равнодушно отвечает:

— Ничего, она — осторожная...

Смотришь, бывало, как она одиноко расхаживает по пустой земле, за версту от станции, кланяясь редким цветам и травам, и все больше не нравятся ее отец, станция, люди — вся эта скучная, полусонная жизнь.

Не раз по ночам она прибегала ко мне, окутанная с головы до ног большой серой шалью, похожая на летучую мышь, и говорила торопливо, но спокойно:

— Иди, отец опять назюзюкался до смерти!

Схватив ее на руки, я бежал на квартиру Колтунова.

Он валялся на полу синий, со вздувшимся лицом, вытаращенными глазами, похожий на утопленника. Несколько капель нашатырного спир-

та с водою, влитые ему в горло, оживляли его, он мычал, а девочка убийственно спокойно спрашивала:

— Еще не до смерти?

И, садясь на пол, у головы отца, гладила его рукою по шершавой щеке, приговаривая:

— Ах, какая пьяница несчастная!..

Юдин, любивший девочку больше, чем другие, мечтал:

— Если бы у меня была мать или какая-нибудь дуреха согласилась бы выйти замуж за горбатого, я бы выпросил Верочку себе. Зачем она Колтунову?

Он был зол, дерзок, склонен к пессимизму, но где-то в глубине его души теплились тоска о лучшей жизни и нежное сострадание к людям.

— Как жалко всех! — вздыхал он иногда, ночью, во время дежурства, когда мы, прочитав какую-нибудь книгу, говорили о ней. — Как жалко людей!..

Это чувство он бесплодно тратил на уход за пьяными и больными, на примирение семейных ссор и на убедительные письма товарищам своим, телеграфистам линии. Одному он советовал жениться, другому — играть на скрипке, третьего уговаривал идти в колонию толстовцев.

Когда я немножко смеялся над ним за это, он резко возражал:

— А что делать? Что можно делать в этой рыбьей жизни?!

Мы оба были страстными любителями чтения, мы читали книги с ненасытной жадностью, день и ночь, в свободные часы. Книги были для нас просветами в мир действительной жизни из мира мертвой пустоты.

Но очень быстро мы проглотили все книги, какие нашлись на шести станциях между Волгой и Доном, и вот наступила для нас полоса духовного голода, — муки его знакомы только тем, кто жил в пустотах нашей страны, задыхался в густой скуке ее равнин. Нечем жить, — это, кажется, самое жуткое ощущение, испытанное мною.

Долго маялись мы в поисках хороших книг, но не находили ничего, кроме романов Окрейца, старой «Нивы» и тому подобной нищеты.

Колтунов издевался над нами:

— Что, ребята, издыхаете? Потеха!

И однажды, сжалившись, предложил:

— У меня в Калаче знакомый есть, он выписывает журнал. Хотите — попрошу?

Мы стали умолять его; он, посмеявшись, согласился, и через несколько дней кондуктор пассажирского поезда вручил Колтунову пакет и письмо.

— Вот он, журнал! — сказал Колтунов, победоносно взмахнув пакетом, но, прочитав письмо, закусил усы, оглянулся и, сунув пакет под мышку, плотно прижал его локтем.

— Ну, давай сюда, — попросил Юдин, радостно улыбаясь большим ртом.

Колтунов приподнял плечи и тоном начальника заявил:

— Успеешь, не лезь!

Юдин удивился, отступил на шаг; они были приятелями, и Колтунов никогда не говорил так грубо.

— Я схлопотал — мне и читать первому, а вы — после! — добавил Колтунов сухо и сердито.

Это и меня обидело: раньше читали вслух, все вместе, или читал тот, у кого было свободное время. Книгу держали всегда на виду, в телеграфной.

— Ты что форсишь? — спросил Юдин, а Колтунов ответил еще более сердито:

— Отстань! Я хочу читать для отдыха души, и не для спора да вздора. Читать надо молча, а вы рассуждаете: отчего так, зачем не этак! Надоело мне это! Я хочу один читать, — и убирайтесь к черту!

Он запер книгу в ящик своего стола и до конца дежурства не разговаривал с нами, гневно озираясь, слоено испуганный чем-то. Когда он, кончив дежурство, уходил к себе, Юдин сказал ему:

— Ляжешь спать, положи книгу на видном месте, я зайду, возьму ее... Он не ответил, только усмехнулся.

Около полуночи Юдин предложил мне:

— Пойди-ка, возьми книжку, он, наверное, дрыхнет уже.

Днем часа полтора непрерывно хлестал землю обильный дождь, затем снова на вымытом небе явилось знойное солнце, щедро согрело землю, — теперь в степи было темно и душно, как в бане. Среди черных туч, в глубоких синих ямах, тускло светились золотые звезды, — в эту ночь все они казались угасающими. Предо мною, как бы указывая путь, прыгала лягушка; вдали гудел поезд; с водокачки доносилась тихая песня кочегара-еврея, косоглазого человека, с печальной улыбкой на красных губах, — кажется, ничто не могло стереть эту улыбку с его острого смуглого лица. Из окна квартиры Колтунова изливался желтый свет, падал на землю, показывал в темноте штабель шпал и тонкий ствол тополя. Сквозь кисею, натянутую на раме окна, я видел Колтунова: он сидел за столом в ночном белье, облокотясь, согнувшись, запустив пальцы в рыжие волосы. Его острый небритый подбородок судорожно вздрагивал, и на книгу, лежавшую между локтями, капали слезы, — при свете лампы было хорошо видно, как они падали одна за другою, — мне казалось, что я слышу мокрые удары о бумагу. Нехорошо видеть человека, когда он плачет...

Кроме лампы, на столе стояла едва початая бутылка водки и тарелка с куском соленого арбуза. В плетеном кресле спала девочка, свернувшись калачиком; лицо ее было сплошь закрыто кудрями, виден только рот, удивленно открытый. Глубже в комнате было так же темно, как в степи, а освещенное пространство напоминало пещеру в черной горе.

Колтунов выпрямился, посмотрел в окно. Его незначительное лицо, обтаяв в слезах, казалось еще меньше и незначительнее. Вот он поднял книгу над лампой и стал сушить слезы; посушив и потрогав пальцем страницу, снова качает книгу над огнем, а из глаз его все катятся слезы, застревая в усах.

Я ушел встречать поезд и, встретив, сказал Юдину:

— Не спит, все еще читает...

— Скотина! — ворчал телеграфист, выстукивая отправление, — Приятель! Все мы приятели до первого вкусного куса.

Перед рассветом я снова стоял под окном, разглядывая сквозь кисею маленького рыжего человечка. Он, должно быть, спал; голова опустилась на грудь, руки бессильно лежали на коленях, Лампа погашена, но горит свеча в медном подсвечнике, золотое копые огня двукратно отражается в стекле бутылки, — водки не убавилось. Комната еще темнее, чем была прежде, девочки нет в кресле, а закрытая книга лежит на углу стола, близко к подоконнику.

Я тихонько прорвал кисею, просунул руку в дыру. Колтунов вскочил на ноги, схватил подсвечник, размахнулся и заорал диким голосом:

— Прочь! Убью!

Свеча погасла, но я все-таки видел незнакомое, искаженное лицо, тотчас утонувшее во мраке.

Через минуту он спокойно и грубо спросил:

— Это кто?

— Я за книгой.

— Не дам...

Я постоял под окном еще минуту, глядя в степь, на восток. Там, за тучами, всходило солнце; на желтом пятне зари маячил маленький чер-ный всадник; по земле за ним серым облаком ползла отара овец.

Все это — знакомо, все это было. Как хорошо смотреть в книгу и ви-деть перед собою другую жизнь!..

Дня четыре Колтунов дразнил нас книгой: принесет ее на станцию и читает один, а когда мы попросим — издевается:

— Встаньте на колени — дам!

Юдин увещевал его:

— Дурак, вспомни, сколько мы давали тебе книг!

— Ну, так что.

— Ты читал же с нами?

— Вставай на колени!

Он был противен и жалок, он сам, видимо, чувствовал это и, напере-кор себе, все более упрямо дразнил нас. Читает и время от времени нада-ет разные восклицания.

— Потеха! Вот как!

Эти словечки еще более распалляли наше любопытство, нашу жажду познакомиться с книгой. Мы так невзлюбили его, что даже на девочку перенесли чувство, вызванное ее отцом. И, когда она, любимая, подбега-ла к нам, мы холодно отстраняли ее, надеясь хоть этим досадить ее отцу.

Я до сего дня помню, с каким недоумением смотрели на меня и Юди-на темные глазки девочки, как вздрагивал, в улыбке огорчения, ее алый рот, похожий на цветок.

И Колтунов видел это. Но он только усмехался и дергал себя за усы нервным движением руки.

— Хочется почитать, мальчишки? — спрашивал он, пряча книгу в стол. — А я не дам...

— Ударю я его, — грозил Юдин, задыхаясь и бледнея. — Вот что: кни-гу эту не брать у него, хоть и даст, — не брать! Ладно?

Я соглашался:

— Ладно.

— Даешь слово?

— Даю.

Смешно вспомнить об этом теперь, но в те дни я искренно страдал и боялся чего-то, потому что в груди порою вскипала такая ненависть к человеку, что от нее кружилась голова и перед глазами мелькали крас-ные пятна.

Вся станция видела, что мы, трое друзей, поссорились, все слышали, как Колтунов издевался над: нами, все чего-то ждали от нас и что-то вну-шали нам, безмолвно, пытливыми взглядами, усмешками.

Кончилось это очень просто: утром Колтунов пришел на дежурство, бросил журнал Юдину и сказал;

— На, читай...

Телеграфист схватил книгу на лету и тотчас молча воткнул большой нос в оглавление.

Ночью я читал вслух Юдину незначительный рассказ о том, как хорошая женщина ушла от дурного мужа на работу для общества, для мира, — читал и думал:

«Над этим, что ли, плакал Колтунов?»

Вдруг он ввалился в дверь и заорал, цепляясь руками за косяки:

— Н-не смей читать!

Ноги у него подгибались, он был безобразно пьян и дико таращил красные, мокрые глаза.

— Н-не смей... Никто не понимает ничего... и те, кто пишут, и все...

Опустился на пол, протягивая нам руки и вскрикивая:

— Молчать!.. Не читать!..

А в двери, за его спиною, стояла маленькая девочка, Вера Петровна, в расстегнутом платице, сползавшем с плеч, босая и встрепанная, — ее рыжие кудри поднимались вверх, как пламя, — стояла и тусклым голосом спрашивала:

— Зачем вы его обидели?

